



Популярная библиотечка «Коробейник»

*Записки венецианца
Казановы о пребывании
его в России,
1765 – 1766*





Популярная библиотечка «Коробейник»

Серия «Мгновения истории»

*Записки венецианца
Казановы
о пребывании его в России,
1765 – 1766*

Москва
«Панорама»
1991

Печатается по изданию: Записки венецианца Казановы
о пребывании его в России, 1765—1766.

Русская старина, 1874. Т. IX.

Орфография и пунктуация оригинала сохраняются.

Художник *ХАЧАТРЯН Л. А.*

Редактор *Симакова Т. И.* Худож. редактор *Горняк М. В.*

Техн. редактор *Курова Е. Г.*

Корректоры *Курятникова В. Н., Чирикова М. Г.*

- 332 Записки венецианца Казановы о пребывании его
в России, 1765—1766. — М.: Панорама, 1991. —
32 с. — (Популярная библиотечка «Коробейник».
Серия «Мгновения истории»).

ISBN 5-85220-132-4

Знаменитый авантюрист XVIII века, богато одаренный человек, Казанова большую часть жизни провел в путешествиях. В данной брошюре предлагаются записки Казановы о его пребывании в России (1765—1766). Д. Д. Риббинс, подготовивший и опубликовавший записки на русском языке в журнале «Русская старина»¹ в 1874 г., писал, что хотя воспоминания и имеют типичные недостатки иностранных сочинений, описывающих наше отечество: отсутствие основательного изучения и понимания страны, поверхностное или высокомерное отношение ко многому андемонному, но в них есть и несомненные достоинства: живая обрисовка отдельных личностей, зоркий взгляд на события, меткие характеристики некоторых явлений русской жизни.

3 4703010100-143
088(02)-91 КБ-20-9-91

ББК 84

ISBN 5-85220-132-4

Въезд в Россию и приключение на границе. — Прибытие в Митаву. — Герцог Бирон и бал у него. — Знакомство в Риге с его сыном Карлом. — Приезд в Петербург. — Французы-гувернеры из лакеев.

(Казанова ехал в Россию из Англии через Пруссию, где представлялся королю Фридриху II, который обошелся с ним несколько небрежно. Авантюрист, понастроившийся в Лондоне, не мог поправить в Берлине своих разстроенных дел, почему продолжал путешествие весьма скромно и на-легке; при въезде же в варварскую Московию, «страну гостеприимства и подобострастия», путешественник вдруг оперяется и принимает вид большого барниа):

...«Прусский фельдмаршал Левальд, кёнигсбергский губернатор, к которому я имел рекомендательное письмо, при прощальном моем посещении дал мне такое же письмо в Ригу на имя г. Воейкова (Woïakoff). До сих пор я ехал в публичном экипаже; но перед въездом в русскую империю, почувствовал, что мне следует появиться там в виде знатного господина, и потому нанял себе четвероместную карету, шестернею. На границе какой-то незнакомец останавливает мой экипаж, приглашая меня оплатить пошлинами ввозимые мною товары. Я ему отвечаю словами греческого мудреца (увы! на этот раз вполне подходящими ко мне): «все мое со мною». Но он все-таки настаивает на требовании вскрыть мои чемоданы. Я приказываю кучеру погонять вперед; незнакомец не пускает, и мой кучер, полагая, что мы имеем дело с таможенным досмотрщиком, не смеет трогаться далее. Тогда я выскакиваю из кареты с пистолетом в одной руке и с тростью в другой. Незнакомец угадывает мои намерения и пускается бежать со всех ног. Со мною был слуга, родом из Лотарингии, несдвинувшийся с места в продолжение всей этой сцены, несмотря на горячие мои внушения. Увидя, что дело кончилось, он мне сказал:

— «Я хотел предоставить вам, сударь, всю честь победы, которую вы одержали».

Мой въезд в Митаву произвел впечатление: Содержатели гостиниц почтительно мне кланялись, как бы приглашая остановиться у них. Кучер привез меня прямо в великолепный отель, насупротив герцогского дворца. После расплаты с кучером, у меня осталось на лицо всего три червонца!

На другой день утром я представился камергеру

Кейзерлингу с письмом барона Трейделя. Г-жа Кейзерлинг оставила меня завтракать. Нам подавала шоколад молодая полька, прехорошенькая собой. Я имел время налюбоваться этой мадонной, которая, с потупленными глазами, с подносом в руке, неподвижно стояла подле меня. Вдруг мне приходит в голову мысль, порядочно шальная в моем положении. Я вынимаю из жилета последние свои три червонца и, отдавая назад выпитую чашку красавице, ловко опускаю их на ее поднос. После завтрака г. Кейзерлинг уехал и, возвратясь, сказал, что видел герцогиню курляндскую, которая приглашает меня на бал нынешнего вечера. Это приглашение смутило меня; я вежливо отклонил его, извинившись неимением костюма. В самом деле, тогда наступил уже октябрь, а у меня было только тафтяное платье.

Когда я воротился в гостиницу, хозяйка доложила, что в соседней зале ожидает меня один из камергеров его светлости герцога. Он имел поручение передать мне, что герцогский бал будет маскированный и что, следовательно, мне будет не трудно найти себе костюм у торговцев. Вдобавок он сказал, что хотя первоначально бал назначался быть парадным, но это условие изменено в виду того, что один именитый иностранец, приехавший накануне, не получил еще своего багажа. Затем камергер удалился, отнеся множество поклонов.

Не веселое было мое положение: в чем найти способ отделаться от посещения бала, по которому даже распоряжения изменены ради моей особы? Я ломал себе голову, как бы принискать выход из этого затруднения; но тут явился ко мне еврейский торгош, с предложением разменять на червонцы (дукаты) прусское золото, которое могло быть у меня.

— У меня нет ни одного фридрихсдора.

— «По крайней мере, есть у вас несколько флоринов?»

— Ни того, ни другого нет.

— «Ну, так у вас должны быть гинен, потому что вы, говорят, приехали сюда из Англии?»

— И этой монеты я не имею: все мои деньги в дукатах.

— «А у вас их изрядное количество, не правда ли?»

Мой торгош произнес эти последние слова с улыбкой, которая сперва заставила меня подумать, что ему известно истинное содержание моего кошелька. Но жид тотчас же продолжал:

— «Я знаю, что вы расходуете их таровато и что при такой манере несколько сотен, которые у вас могут быть, вам здесь не надолго хватит. Я имею надобность в четырехстах рублях на Петербург: не хотите-ли доставить мне переводный билет на эту сумму за двести дукатов?»

Я немедленно согласился и дал ему переводное письмо на греческого банкира Димитрия Папанельполо. Доверчивая обязательность жидка подслужилась мне единственно вследствие подарка мною трех червонцев молодой горничной. Таким образом, нет ничего на свете легче и в тоже время труднее, как добывать деньги. Все зависит от приемов, с какими возьмешься за дело, да от прихоти счастья. Не будь с моей стороны хвастливо щедрой выходки, я остался бы без гроша в кармане.

Вечером г. Кейзерлинг представил меня герцогине, супруге известного Бирона, прежнего любимца императрицы Анны. Это был старик, уже несколько сгорбленный и плешивый. Всматриваясь в него поближе, видишь, что когда-то он был очень красив. Танцы длились до утра. Красавиц было множество, и я надеялся за ужином поволочиться за какой-нибудь из них, да не удалось. Герцогиня, подав мне руку вести ее к ужину, усадила меня за стол из 12-ти приборов, за которыми восседали все пожилые вдовствующие особы.

Я уехал из Митавы через несколько дней спустя, снабженный рекомендательными письмами к принцу Карлу Бирону, пребывавшему в Риге. Герцог был столько обязателен, что дал мне один из своих дорожных экипажей доехать до этого города. Перед моим отъездом, он спросил у меня: какой подарок был бы мне приятнее — вещь, или ее стоимость наличными деньгами? Я выбрал последнее и получил 400 талеров.

В Риге принц Карл принял меня с большою предупредительностью, предложив мне пользоваться его столом и кошельком. О помещении умалчивалось, потому что его собственное было тесновато, но он посодействовал мне достать очень удобную квартиру. В первый раз, когда я обедал у принца, то встретил там: танцовщика Кампиони — человека, стоявшего, по уму и манерам, гораздо выше своего ремесла; некоего барона Сент-Элена, из Савойи — игрока, развратника и плута; одну даму с подержанной уже наружностью; адъютанта, состоявшего при особе принца, и недурную собой женщину, лет двадцати, сидевшую по левую руку хозяина.

Она имела вид грустный и задумчивый, ничего не ела и пила только воду. Кампиони сделал мне знак, что она любовница принца... А после сказал мне, что она стóит принцу пропасть денег и делает его несчастливym. Целых два года она дуется на него за отказ на ней жениться. Принц не прочь отделаться от нея и уже предлагал ей в мужья одного подпоручика, но разборчивая дама объявила претензию на чин повыше, по крайней мере, капитанский; а из здешних офицеров, имеющих этот чин, не оказалось ни одного холостого.

(Казанова, впоследствии, встретился опять с принцем Карлом, уже в Петербурге)... Принц жил в Петербурге у г. Демидова, владельца богатейших железных рудников в России, построившего себе целый дом из одного этого металла: стены, двери, лестницы, окна, потолки, полы и кровля, — все было из железа! В таком здании ничего бояться пожара. Худший исход для живущего в доме представляется в опасности изжариться, но не обратиться в пепел.

Принцу курляндскому¹ сопутствовала его фаворитка; он повсюду отыскивал ей мужа, но такового не обреталось. Я виделся с нею и она до того опротивела мне своим вздохам и стенаниями, что я дал себе зарок — к ней более ни ногой. Самый худший сорт женщины — это угрюмая, кислая личность; по нисходящему порядку педантки следуют уже за ними... Принц должен был бы научиться моему примеру, на какой ноге нужно держать при себе любовницу; но он принадлежал к числу людей, обладающих особенным умением вселять в самые приятные связи тоску и недовольство...

...Я выехал из Риги 15-го декабря на пути в Петербург, куда прибыл через 60 часов после выезда. Разстояние между этими двумя городами почти такое же, как между Парижем и Лионом, считая французскую милю (лье) около 4-х верст. Я позволил стать сзади моей кареты бедному французу-лакею, который зато служил мне бесплатно во все время моей поездки. Спустя три месяца после того, я был ни мало удивлен, уви-

¹ Здесь кстати заметить, что когда в России царствовала Елизавета Петровна, то по Италии разъезжал какой-то авантюрист из мелкотравчатых, называвший себя именем этого самого Карла Бирона (второго сына герцога) и утверждавший, что он спасся бегством из Сибири. В IV томе своих Записок Казанова рассказывает о его разных мошеннических проделках, жертвою которых выставляет и самого себя. Кто был этот микроскопический самозванец, неизвестно. Казанова называет его «Charles Iwanoff, le russe».

дев его возле себя за столом у графа Чернышева в качестве гувернера при сыне его. Но не стану забегать вперед в своем рассказе. Мне предстоит сказать многое о Петербурге, прежде чем останавливать внимание на лакеях, которых я встречал там не только гувернерами князей, но и еще лучше.

II

Петербург. — Бал во дворце. — Знакомства: Мелиссино, Зиновьев, лорд Макартней, Лефорт-сын. — Нравы высшего общества. — Способ платить игорные долги. — Панин. — Дашкова. — Господство женщин. — Французская литература и Вольтер. — Русский язык и климат. — Приготовление к каруселю. — Военные маневры. — Крещенское водосвятие. — Набожность. — Покупка крестьянской девочки. — Всемогущество палки в России. — Отъезд в Москву.

Петербург поразил меня своим странным видом: мне казалось, что я вижу поселение дикарей, перенесенное в европейский город. Улицы длинные и широки, площади просторны, дома просторны: все это ново и неопрятно. Известно, что этот город был импровизирован царем Петром Великим. Его архитекторам удалось подражание постройкам на европейскую стать; но все-таки эта столица высматривает пустыней и соседкою северных льдов. Нева, орошающая своими сонными волями стены многочисленных дворцов, не река, а скорее озеро (!). Я нашел себе две комнаты в отеле, с окнами на главную набережную. Мой хозяин был штутгартский немец, сам недавно приехавший сюда. Он очень ловко объяснялся со всеми этими русскими и сразу давал им понимать себя, чему я удивился бы, если-б не знал заранее, что немецкий язык общераспространен в этой стране, а туземное наречие здесь употребляется одною только черью. Хозяин мой, видя во мне новоприезжаго, растолковал мне, на своей табаршии (bagatelle), что при дворе дается бал-маскарад, — огромный бал на шесть тысяч особ, долженствующий продолжаться 60 часов. Я взял предложенный им билет и, завернувшись в домино, побежал в императорский дворец. Общество собралось уже все и танцы были в самом разгаре; в некоторых покоях помещались буфеты внушительной наружности, ломившиеся под тяжестью съедобных вещей, которых достало бы для насыщения самых дюжих appetitов. Вся обстановка бала представляла зрелище причудливой роскоши в убранстве комнат и нарядных гостей; общий вид был великолепный. Любуясь им, я вдруг услышал случайно чьи-то

слова: «посмотрите, вот императрица; она думает, что ее никто не узнает; но погодите, ее скоро все различат по ее неотступному спутнику, Орлову». Я пошел вслед за домною, о котором говорили, и вскоре убедился, что то была действительно Екатерина: все маски говорили о ней одно и тоже, притворяясь неузнающими ее. Среди огромной толпы она ходила взад и вперед, теснимая со всех сторон, что, по-видимому, не причиняло ей неудобств; иногда она садилась сзади какой-нибудь группы, ведущей приятельскую болтовню. Этим она рисковала столкнуться с кое-какими маленькими неприятностями; так как разговор мог касаться ее самой; но, с другой стороны, вознаграждалась возможностью услышать полезную для себя истину: счастье, редко выпадающее на долю царей. В некотором разстоянии от императрицы, я заметил маску колоссального роста, с геркулесовскими плечами. Когда эта атлетическая фигура проходила мимо, все говорили: «это Орлов»...

(Тут следует рассказ автора о том, как он встретил на этом придворном маскараде свою старую парижскую знакомую, куртизанку m-me Baret, бывшую на содержании у польского посланника при русском дворе, Рожевского (Rozeuski), который в это время оставлял Россию, отправляясь в Варшаву).

...После бала, проспав ровно целые сутки, я поехал к генералу Мелиссино (le général Iwanowitch Melissipo). У меня было к нему рекомендательное письмо от прежней его фаворитки, де-Лольо (m-me de Loglio). Благодаря этой рекомендации, генерал принял меня как нельзя лучше и пригласил, раз навсегда, бывать на его ужинах. В его доме все было на французский лад: стол и напитки отличные, беседа оживленная, а игра и пуще того. Я познакомился с его старшим сыном, женатым на княжне Долгоруковой. С первого же вечера я засел за фараон; общество состояло все из людей порядочных, проигрывающих без сожаления и выигрывающих без похвальбы. Скромность привычных посетителей, равно как и почетное их положение в обществе, ограждал их от всяких придирок административной власти. Банк держал некто барон Лефорт, сын или племянник знаменитого адмирала Лефорта. Этот молодой человек был запятан одним дурным делом, навлекшим на него опалу императрицы. Во время коронации Екатерины в Москве, он исхodataйствовал привилегию на учреждение лотерен, для которой потребный фонд дало правительство. Вследствие ошибочных действий привле-

ння, заведывавшаго делом, лотерея эта лопнула, и тогда вся беда обрушилась на беднаго барона.

Так как я играл очень сдержанно, то мой вынгрыш едва доходил до нескольких рублей. Князь *** в моих глазах спустил одним разом десять тысяч рублей, отчего несколько не казался смущенным, и я вслух выразил Лефорту мое удивление перед подобным хладнокровием, столь редким у игроков.

— «Нечего сказать, велика заслуга!» возразил мне банкир, «да ведь князь-то играл на честное слово и, стало быть, ничего не заплатит: это его привычка».

— А честь?

— «Честь не пострадает от неплатежа игроков: по крайней мере, так принято в здешней стране. Между двумя игроками существует безмолвный договор, по которому проигравший на слово волен платить или нет; выигравший был бы смешон, если-б требовал уплаты, которую его должник не предлагает внести сам».

— Подобный обычай должен бы, по крайней мере, давать право банкиру отвергать ставку того или другого понтера.

— «Ну, ни один банкомет не посмеет нанести такой обиды кому бы то ни было. Проигравшийся дотла почти всегда удаляется, не расплатившись; честнейшие из них оставляют залог, но это случается редко. Здесь есть молодые люди самых знатных фамилий, которые ведут, что называется, игру миную, безответственную, и смеются прямо в глаза тем, кто у них выигрывает».

В доме Меллисено я познакомился также с молодым гвардейским офицером Зиновьевым, близким родственником Орловых¹. Он меня представил английскому посланнику, лорду Макартнею (Macartney). Этот молодой дипломат, красивый, богатый, изящный в обращении, вздумал влюбиться в одну из фрейлин императрицы² и имел неосторожность сделать ее беременной. Екатерина нашла поступок весьма дерзким; она простила де-

¹ Двоюродный его брат, Василий Николаевич, впоследствии действ. камергер, тайн. сов. и секретарь, брат жены Григория Григорьевича Орлова, Екатерины Николаевны, рожденной Зиновьевой. Впрочем, был еще Андрей Николаевич Зиновьев (полковник), их брат.

Д. Р.

² Названа в записках «M-lle Chesroff» — фамилия, очевидно, искаженная. В биографических списках фрейлин, составленных Карабановым, не значится ни одной фамилии, сколько-нибудь похожей на эту.

Ред.

вушке ее погрешность, но потребовала, чтобы посланник был отозван.

У меня было еще письмо мадам Лольо (Loglio) к княгине Дашковой, удаленной из Петербурга после того, как она оказала содействие своей государыне к восшествию на престол, который она надеялась разделять с нею. Я поехал засвидетельствовать ей мое почтение, в ее деревню, за три тысячи верст от столицы (?!!). Застал я ее в трауре по муже, покойном князе¹. Она предложила мне свою рекомендацию к графу Панину и сказала, что с этой рекомендацией я могу смело явиться к нему. Как я узнал, Панин часто посещал Дашкову и мне казалось, по меньшей мере, странным, как императрица терпела дружеские отношения своего министра с женщиной, которую удалила от двора. Тайна объяснилась позже: мне сказали, что Панин — отец княгини (!!!); до тех же пор я упорно думал, что он ее возлюбленный. Ныне² княгиня Дашкова, уже пожилая, состоит президентом петербургской академии. Кажется, Россия есть страна, где отношения обоих полов поставлены совершенно на выворот: женщины тут стоят во главе правления, председательствуют в ученых учреждениях, заведывают государственной администрацией и высшею политикой. Здесь стране не достает одной только вещи, — а этим татарским красоткам (*à ces beautés tartares*) — одного лишь преимущества, именно: чтобы они командовали войсками!

...Я имел много случаев заметить, каким уважением пользуются французские книги со стороны русских, т. е., людей образованных или претендующих на образованность. Говоря о французских книгах, я разумею сочинения Вольтера, которые для москвитов представляли всю французскую литературу. Великий писатель посвятил императрице свою «Философию истории» (*Philosophie de l'histoire*), о которой он сам отзывался, как о сочинении, написанном для Екатерины. Месяц спустя после выпуска из печати, три тысячи экземпляров этого сочинения были опубликованы в России и раскуплены на-расхват в одну неделю. Каждый русский, читающий по-французски, носил книгу в своем кармане, словно молитвенник или катехизис. Особы высшего круга толь-

¹ Княгиня Дашкова овдовела 17-го августа 1764 г. Ред.

² Слово «ныне» относится, разумеется, не ко времени прибытия Казановы в Россию, а к позднейшим годам, когда он писал свои воспоминания.

ко и бредилн Вольтером и божились не иначе, как его именем. Прочитав его, они считали себя обладателями знаний самобытных и всесторонних, почти наравне с своим учителем. «Но для того, чтоб основательно усвоить знания и мудрость Вольтера», говаривал я им часто, «лучше следовало бы изучать те источники, откуда он сам почерпнул их: это было бы средством вернейшей оценки того и другого». Но я проповедовал глухим. Фернейский патрнарх был в моих глазах — альфа и омега всякого знания и всякой премудрости. Русские моего времени напоминали мне собою чрезвычайно меткое и тонкое изречение одного знаменитого римского прелата, который сказал мне однажды: «Берегитесь когда-либо спорить с таким человеком, кто ничего не читал, кроме одной только книги». И так, я безстрастно смотрел, как проносился мимо меня этот шумный поток восторженных похвал.

...Иногда служанка обращалась ко мне с несколькими словами на своем татарском диалекте, над которым я мог бы вдоволь посмеяться при всяком другом случае. Сколько я ни бился, сколько ни ломал себе голову над русской грамматикой, — уста мои отказывались произнести внятно хоть бы одно слово этого бычачьего языка (*cette langue de taureau*). К счастью еще, что в два месяца эта девушка кое-как выучилась по-итальянски, на столько, что могла что-нибудь говорить со мной... Никогда я не мог выучиться русскому языку, о котором Ж. Ж. Руссо (невежественный великий человек!) говорит, как об испорченном наречии греческого. Русский язык, напротив того, есть ничто иное, как говор, почти первобытный, сложившийся в глубине востока. Я всегда думал, что кто-либо из ученых ориенталистов, путем сравнительных выводов (*induction*), успеет открыть коренныя начала этого языка.

...Зимою иностранцы здесь безпрестанно отмораживают себе уши, носы и щеки. Одним утром, на пути в Петергоф, я встречаю русского, который, набрав в горсть снегу, вдруг кидается на меня и, крепко ухватившись, начинает тереть мне снегом левое ухо. В первую минуту я принял-было оборонительное положение; но, к счастью, в пору догадался о причине этого поступка: мое ухо начинало отмораживаться, а добрый человек это заметил, видя, что оно побелело.

...Императрица поручила своему архитектору Ринальди (это было летом) построить на дворцовой площади обширный деревянный амфитеатр, которого план

я видел. Ея величеству угодно было дать карусель, на котором мог бы красоваться цвет воннов ея империи. Много подданных государыни было приглашено на этот праздник, впрочем, тогда не состоявшийся, по причине дурной погоды¹. В программе возвещалось, что карусель откроется в первый красный день; но этот красный день не наступил: и действительно, утро без дождя, ветра или снега — редкость необычайная в Петербурге. В Италии мы привыкли полагаться на хорошую погоду, в России же должно всегда рассчитывать на ненастную. Вот почему мне всегда смертельно хочется смеяться, когда я встречаю русских путешественников, говорящих с умилением о ясном небе их родины: странное небо, которого я, по крайней мере, никогда не знал иначе, как в виде сероватого тумана, извергающего густые хлопья снега!

...Летом в Петербурге можно знать о наступлении вечера только по заревому пушечному выстрелу; без того нельзя знать об этом наверно, ибо в летнюю пору ночи не бывает. В полдень вы можете читать письмо без свечки. Явление удивительное, не правда ли? Я согласен; но оно надоедает ужасно. Шутка плоха, когда она слишком длинна. Кто может равнодушно вынести безконечный день из целых семи недель?..

...Скажу несколько слов о небольшой поездке, которую я сделал в окрестностях Петербурга. Это было по случаю большого смотра пехотных войск, на котором присутствовал весь двор. Квартирны заранее были заняты для главнейших офицеров и придворных дам; а потому мудрено было достать себе удобное помещение на пространстве трех миль в окружности. Самая бедная деревушка в любом краю западной Европы есть чудо великолепия в сравнении с русскими селениями, состоящими сплошь из лачуг и хлевов, где нечистота является наименьшим неудобством. Поэтому я решил избрать убежищем свою карету, откуда и не выходил. В моем просторном и покойном дормезе я даже принимал визиты, иногда человек пяти в один раз; но особенно оказалось выгодным мое подвижное жилище в том отношении, что с ним я мог переноситься в какое угодно место лагеря и не упустить ни одной занимательной подробности этого зрелища. Оно длилось три дня. На маневрах представлялось подобие военных действий, пускались фейерверки, сделан взрыв крепостцы, — взрыв,

¹ Карусель состоялся 11-го июля 1766 г.

Пр. перев.

который стоил жизни нескольким солдатам, но не произвел сильного впечатления, как ожидавшийся заранее.

...Еще присутствовал я зимою, в день Богоявления, при особенном обряде: я хочу сказать, при водосвятии на реке Неве, покрытой в это время толстым слоем льда. Церемония эта привлекает бездну народа, ибо после водосвятия крестят в реке новорожденных и не посредством обливания, а чрез погружение нагих младенцев в прорубь на льду. Случилось в тот день, что поп (le pape), совершавший крещение, старик с белою бородой и трясущимися руками, уронил одного из этих бедных малюток в воду, и ребенок утонул. Встревоженные богомольцы приступили с вопросом: что значит такое предзнаменование?

— «А это значит», отвечал с важностью поп, «это значит... вот что: ...подайте мне другого».

Более всего удивила меня радость родителей бедной жертвы. Потерять жизнь при самом крещении, говорили они с восторгом, значит прямо войти в рай.

Не думаю, чтобы православный христианин мог сделать какое-нибудь возражение на подобный аргумент¹.

...Русские — суевернейший народ в целом свете. Святому Николаю, их патрону, одному воздается более молитв и земных поклонов, чем всем остальным святым календаря в совокупности. Русский молится не Богу: он поклоняется св. Николаю и ему возносит свои моления. Вы найдете здесь везде образ этого святого; его икону я видел и в столовых залах, и в кухнях, и, одним словом, всюду, где бы ни было: это их домашнее божество, их бог — лар. Гость, приехав в дом, должен сперва поклониться изображению святого, а потом уже поздороваться с хозяином. Я видел, как москвиты, при входе в комнату, где, по какому-либо исключительному случаю, не было этой иконы, проходили в другая комнаты искать ее. На исподе всех этих обычаев лежит язычество, точно также, как и на дне всех верований, преувеличено-воспринятых, доведенных до крайних проявлений. Самая забавная несообразность оказывается еще в том, что язык московитский есть чисто-татарское наречие, а между тем, литургия отправляется на грече-

¹ Очевидно, что повествователь жестоко завирается: он не мог быть свидетелем невозможной небывальщины и баснословит с чужаго голоса других иностранцев-сказочников.

ском¹, так что православные всю свою жизнь твердят молитвы и славословия, в которых сами не понимают ни слова. Перевод молитв на язык общеупотребительный сочтен был бы за дело нечестное, что внушается духовенством, с целью сохранить собственное влияние и употреблять его в свою пользу.

(Далее Казанова рассказывает не совсем правдоподобную, по обстановке, историю о том, как, с содействием Зиновьева, он купил себе за сто рублей тринадцатилетнюю крестьянскую девочку у родного ее отца. Он называет ее Занрой):

...Прогуливаясь близ Екатерингофа вместе с Зиновьевым, мы встретили очень молоденькую, еще неразвившуюся девушку, поразительно-хорошенькую, но дико-застенчивую; при нашем приближении она бросилась бежать; а мы, по ее следам, вошли в избушку, куда она скрылась и где мы нашли ее отца со всею семьей. Девочка спряталась в углу и глядела на нас с тоскливым выражением испуга, как горлица, попадающая на зуб волку.

Зиновьев вступил в разговор с отцом ее. Сколько я понял, речь шла о девочке, потому что она, по знаку своего отца, послушно подошла вперед. Через четверть часа мы вышли из хижин, подарив несколько рублей детям. Тут Зиновьев мне сказал, что он предложил хозяину купить у него дочь себе в служанки, на что тот согласился.

— Сколько же он хочет за это сокровище?

— «Цену непомерную: сто рублей... Вы видите, что тут ничего не поделаешь».

— Как ничего не поделаешь? Да это просто даром!

— «Так, значит, вы не прочь дать сто рублей за девочку?»

— Еще бы. Только согласится-ли она следовать за мной и принадлежать мне?

— «Она обязана будет к этому, как только поступит в ваше владение, — и если разумок не вразумит ее, то вы в полном праве пустить в ход палку».

— Следовательно, не смотря на ее нежелание, я могу заставить ее быть при себе, сколько мне угодно?

¹ Таким-то образом чужеземный гость понял различие между русским и церковно-славянским, между почитанием святого и обоготворением его! Всего интереснее эти суждения в устах католика-итальянца, который в своей отчизне особенно мог свыкнуться с преувеличенными формами набожности.

— «Без всякого сомнения, — по крайней мере, покуда она не возвратит назад ста рублей».

— Если я ее возьму, какое жалование должен ей давать?

— «Ни полушки: только кормить ее да отпускать, по субботам, в баню, а по воскресеньям — в церковь».

— При окончательном выезде моем из Петербурга, дозволено-ли мне будет увезти ее с собой?

— «Да, только нужно получить на это разрешение, со взносом денежного обеспечения (*sous une garantie récipiende*), ибо эта девушка, прежде чем она раба ваша — есть царская».

— Вот и все, о чем я хотел знать. Теперь угодно вам будет взять на себя труд договориться о сделке с ее отцом.

— «Хоть сейчас, коли хотите, — и вздумай вы набрать себе целый гарем, так стоит лишь молвить одно слово; в красивых девушках недостатка здесь нет».

...На другой день утром мы с Зиновьевым опять направились туда; я отдал своему спутнику сто рублей, и мы вошли в избу. Предложение, которое от моего имени заявил хозяину Зиновьев, привело доброго человека в немой восторг и удивление. Он стал на колена и сотворил молитву святому Николаю, потом дал благословение дочке и сказал ей несколько слов на ухо; девочка, посмотрев на меня с улыбкой, проговорила: «Охотно»...

Зиновьев выложил сто рублей на стол; отец взял их и передал дочери, которая тотчас вручила деньги своей матери. Покупной договор (*le contract de vente*)¹ был подписан всеми присутствовавшими; мой слуга и кучер, вместо рукоприкладства, поставили на акте кресты, после чего я посадил в карету свою покупку, одетую в грубое сукно, без чулок и рубашки.

...Я одел ее в платье французского покроя. Однажды я повел ее, наряженную таким образом, в публичную баню, где 50 или 60 человек обоего пола, голых как ладоны, мылись себе, не обращая ни на кого внимания и полагая, вероятно, что и на них никто не смотрит. Пронсходило-ли это от недостатка стыдливости, или от избытка первобытной невинности нравов — представляю угадать читателю.

...Кажется, эта девушка (Заира) сильно привязалась ко мне и вот отчего: во-первых, потому, что я всегда

¹ Можно думать, что это был контракт на отдачу в услужение, по найму, с согласия отца семейства.

обедывал с нею за одним столом, что очень ее трогало; во-вторых, за то, что я иногда ее водил к ее родителям, — льгота, которою рабы редко пользуются от своих господ; а наконец, если уже все высказать, так и за то, что я, от времени до времени, поколачивал ее палкой — действие, общераспространенное в России, но, большею частью, применяемое без толку. Этот обычай, не всегда удовлетворительный (*defectueux*) в своем практическом приложении, в принципе превосходен, как местная и-сущная необходимость. От русских ничего не добьешься путем убеждений, коих и понимать они, кажется, неспособны; словами из них не сделаешь ровно ничего, а колотушками (*les horions*) — все что угодно. Побитый раб всегда так разсуждает: «барин мой мог бы прогнать меня долой, да не сделал этого; следовательно, он хочет держать меня при себе, потому что любит; и так, мое дело любить его и служить ему усердно».

По этому выводу я припоминаю, что у меня в услужении был один казак (!), умевший говорить по-французски. Иногда он черезчур упивался водкой и я старался образумить его увещаниями. Только один мой знакомый, поглядевши на это, и говорит мне: «Ну, смирите! вы не бьете вашего слугу, так он же побьет вас», — что и сбылось, или чуть-чуть не сбылось. Однажды, когда он был мертвецки пьян, я стал журить его и погрозил ему движением руки. Тотчас же он схватывает палку и бросается на меня: он попал бы наверно, если-б я не успел сбить его с ног. Русский раб, обыкновенно столь покорный и безответный, в пьяном виде становится просто страшен. Стакан водки делает из него дикаго зверя. Господствующий порок этого народа, кроме обжорства, чрезмерное пьянство, — порок, впрочем, извиняемый свойствами климата. Кучер, всю ночь напролет сидящий на своих козлах у господскаго подъезда, греется выпивкой; первый стакан водки непременно позывает на другой, и так далее до того, что это лекарство оказывается вреднее самого недуга, которому должно было противодействовать, — и если упившийся кучер заснет, то ему уже никогда более не проснуться...

Пора теперь сказать о моей поездке в Москву, бывшей в исходе мая.

...Я нанял извозчика с шестериком лошадей за 80 рублей. Это не дорого, если взять в соображение, что переезд предстоял почти в 500 итальянских лье, или в 72 версты (?!). В Новгороде, где у нас была остановка, я заметил, что мой извозчик очень печален: разспрашиваю

его и в ответ слышу, что одна из лошадей перестала есть корм и что, вероятно, ей придется быть жертвою нашего путешествия. Иду вслед за извозчиком в конюшню и, в самом деле, вижу бедное животное неподвижным, с понуренной головой. Извозчик мой обращается к больной лошади с речью и упрасивает ее, в выражениях самых нежных, кушать корм; начинает ее всячески ласкать, гладить по голове, целовать в морду: ничто не помогало. Тогда мой парень принялся горько плакать: а я — фыркать от смеха, потому что видел намеренные чувствительного моего возницы тронуть лошадь зрелищем своего горя. Целая четверть часа прошла безуспешно, и мой кучер был уже не в состоянии плакать; тогда он переменял способы убеждения. За минуту до того слезы его душили, а теперь гнев обуял. Хозяин несчастного коня начал расточать ему названия лентяя, упряма и т. п., а потом выволакивает его из конюшни, привязывает к столбу, вооружается палкой и начинает бить его по животному, как по стене. После экзекуции он отводит лошадь в конюшню и подкладывает ей корм: она начинает есть, и вот мир заключен, а участь моего путешествия обезпечена. Только в одной России действие палки производит такия чудеса. Теперь, как я слышу, палка там работает не столь уже деятельно и мастерски. Русские, на свою беду, начинают слабее веровать в нее, перенимают французские обычаи, падают, одним словом. Пусть бы остереглись! Уж они слишком далеко уходят от добрых старых времен Петра Великого, когда палочные порции отпускались методически и последовательно, по старшинству чинов. Полковник получал поощрения кнута от генерала и обращал их на капитана, который наделял ими поручика, а тот, в свою очередь, капрала; рядовой один только не имел за собой никого, кому мог бы передать их преемственно; но в возмещение он мог получать их от всех и каждого.

III

Москва. — Отношение старой столицы к новой. — Московское радушие и барское хлебосольство. — Отсутствие щепетильности. — Любезность дам. — Опять Петербург. — Фаворитка вельможи и его жена. — Чужестранные ловцы счастья. — Братья Лунины. — Встречи и беседы с императрицею Екатериною II. — Поступок я с актрисой-французенкой. — Отъезд автора из России в Варшаву. — Король польский Станислав-Август.

В Москве я остановился в очень хорошей гостинице. После обеда, особенно для меня необходимого с дороги,

я взял извозщицью карету и отправился развозить рекомендательныя письма, в числе четырех или пяти, полученных мною от разных особ. Промежутки в этих визитах дали мне время показать Москву моей Заирочке (*à ma petite Zaïre*). Она была очень любознательна и приходила в восторг от каждого здания; для меня же в этой прогулке памятно одно лишь обстоятельство: немолкаемый звон колоколов, терзавший ухо. На следующий день мне отдали все визиты, сделанные мною накануне. Каждый звал меня обедать вместе с моей пнтоницей. Г. Демидов в особенности оказывал внимательность к ней и ко мне. Я должен сказать, что девочка делала с своей стороны все зависящее, чтоб оправдать эту любезность. Во всех обществах, куда я ее возил, раздавался постоянно хор похвал уменью ее держать себя, грациозности и красоте. Мне было очень приятно, что никто не хлопотал разведывать, точно-ли она моя воспитанница, или просто любовница и служанка. В этом отношении русские самый нещепетильный и сговорчивый народ в мире и практическая их философия достойна высоко-цивилизированных наций.

Кто Москвы не видал, тот не видал России, и кто знает русских только по Петербургу, тот не знает русских чистой России. На жителей новой столицы здесь смотрят, как на чужеземцев. Истинною столицею русских будет еще надолго матушка-Москва (*la sainte Moscou*). К Петербургу относится с неприязнью и отвращением старый москвич, который, при удобном случае, не прочь провозгласить против этой новой столицы приговор Катона старшаго за счет Карфагена. Оба эти города — соперники между собой не вследствие только различий в их местном положении и назначении: их рознят еще и другия причины, причины религиозныя и политическия. Москва тянет все назад, к давнопрошедшему: это город преданий и воспоминаний, город царей, отродье Азии, с изумлением видящее себя в Европе. Я во всем подметил здесь этот характер, и он-то придает городу своеобразную физиономию. В течение недели я обозрел все: церкви, памятники, фабрики, библиотеки. Эти последния составлены весьма плохо, потому, что население, претендующее на неподвижность, любить книги не умеет. Что до здешняго общества, то оно мне показалось приличнее петербургскаго и правильнее цивилизованным. Московския дамы отличаются любезностью. Они ввели в моду премилый обычай, который желательно бы распространить и в других краях, а имен-

но: довольно чужестранцу поцеловать у них руку, чтоб оне тотчас же подставили и ротик для поцелуя. Не сочту, сколько хорошеньких ручек я спешил разцеловать в течение первой недели моего пребывания. Стол здесь всегда изобильный, но услуживают за столом беспорядочно и неловко. Москва — единственный город в мире, где богатые люди держат открытый стол в полном смысле слова. Не требуется особого приглашения со стороны хозяйна дома, а достаточно быть с ним знакомым, чтобы разделять с ним трапезу. Часто случается, что друг дома зовет туда с собой многих собственных знакомых и их принимают точно также, как и всех прочих. Если приехавший гость не застанет обеда, тотчас же для него нарочно опять накрывают на стол. Нет примера, чтобы русский намекнул, что вы опоздали пожаловать; к подобной невежливости он окончательно не сроден. В Москве круглая сутки идет стряпня на кухне. Повара там в частных домах заняты не менее, чем их собратья в парижских ресторанах, и хозяева столь далеко простирают чувство радушия, что считают себя как-бы обязанными лично подчивать своих гостей за каждою трапезой, что иногда следует, без перерыва, вплоть до самой ночи. Я никогда не решился бы жить своим домом в Москве; это было бы слишком накладно и для моего кармана, и для здоровья.

...Русские — самое обжорливое племя в человечестве...

(За сим, автор говорит о своем возвращении в Петербург, к которому и относятся дальнейшие его воспоминания).

...Еще когда я был в Мемеле, то взялся оттуда передать письмо флорентинки Бругонци к венецiance Роколлини, переехавшей в Петербург, с намерением поступить там на сцену Большого театра, в качестве певицы. Но эта девушка, незнакомая с начальными правилами своего искусства, не была туда допущена. Что же тогда она сделала? Сблизилась с одной француженкой, женою купца, по имени Прот (P rote), с целью расположить в свою пользу эту женщину, которая жила в доме обер-егермейстера императрицы, была его любовницей и, в одно и тоже время (небывалое дело!), наперсницей и доверенною особой у супруги обер-егермейстера, Марии Павловны¹. Та терпеть не могла своего благоверна-

¹ Речь идет, как видно, о обер-егермейстере Семене Кирилловиче Нарышкине (1710—1775) и жене его Марье Павловне, рожденной Балк-Полевой (1730—1793).

го и ничуть не возставала против того, что мадам Прот взяла на себя, вместо нея, вести супружеския с ним отношения. И так, Роколинн, которую здесь звали синьоро Виченца, бывала у этой француженки и сама принимала ее к себе со всем ее обществом, что и дало большой ход неудавшейся певнице, хитрой и весьма еще представительной бабенке, не смотря на ее сороколетний возраст. Она пригласила меня на ужин. «Если вы любитель чудес», сказала мне она, «то я покажу вам одно чудо». Дело шло о мадам Прот. Она была в числе гостей и, действительно, никогда я не видал такой чудной красоты. Ея обожатель, обер-егермейстер, давал ей полную свободу в образе жизни, и потому я имел возможность пригласить красавицу, в сообществе с другими знакомыми, обедать в Екатерингоф у одного из лучших рестораторов (из Болоньи), у знаменитого Локателли, о котором и теперь еще помнят хорошие едоки. Остальными моими гостями были Зиновьев, Колонна, синьора Виченца и один музыкантик, ея благопрятель. Наш пир был очень весел...

...Однажды явился ко мне с визитом молодой француз, по имени Кревкёр (Crevesoeur), в паре с миловидною и молоденькою парижанкой, мамзель Ларивьер (m-lle Larivière), и вручил мне письмо от принца Карла курляндскаго, который усердно рекомендовал мне его.

— Потрудитесь сказать, в чем же могу я быть вам полезен?

— «Представьте меня вашим друзьям».

— У меня здесь их очень мало, потому что я сам иностранец. Бывайте у меня, я с своей стороны стану посещать вас; а что касается до знакомств, которые я могу иметь здесь, то обычай не позволяет мне ввести вас в эти знакомства. Под каким именем должен я представить даму, которая пожаловала вместе с вами? Супруга-ли она ваша? Кроме того, ведь меня непременно спросят, какая причина вашего приезда в Петербург? Что же буду я отвечать на все это?

— «Что я дворянин из Лотарингии, путешествующий для своего удовольствия. Девница Ларивьер — моя подруга».

— Признаюсь вам, подобные основания для рекомендации не покажутся удовлетворительными. Впрочем, вы, может быть, хотите изучать страну, ея нравы, обычаи; может быть, имеете единственную целью — развлечение; в таком случае, для вас нет и надобности в част-

ных знакомствах; к вашим услугам театры, гулянья, балы общественные, даже придворные балы. Чтобы пользоваться всеми этими удовольствиями, нужны только деньги.

— «А их-то именно и нет у меня».

— Вы не имеете денег, а решились без них приехать на житье в иностранный столичный город?¹

— «Мамзель Ларивьер склонила меня пуститься в это путешествие, уверив меня, что тут мы добудем средства жить со дня на день. Мы выехали из Парижа без копейки, и вот до сих пор еще очень удачно выпутывались из затруднений».

— Вероятно, сама мамзель Ларивьер и хозяйничает вашим общим кошельком?

— «Наш кошелек», перебила она меня смеясь, «в карманах наших друзей».

— Я считаю очень естественным, что вы, сударыня, находите друзей по всему свету, — и будьте уверены, что в качестве одного из них, я тоже предложил бы вам свой кошелек; но, к несчастью, я не богат.

Тут разговор наш был прерван входом некоего Бомбакка, гамбургского уроженца, который бежал от долгов из Англии, где жил прежде, и поселился здесь. Этот господин устроил себе в Петербурге известное положение: он занял место по военному ведомству, довольно видное; жил на большую ногу, и так как был большой любитель игры, женщин и лакомого стола, то при настоящем случае я и подумал, что в его особе как раз подоспевает готовое знакомство для оригинальных странствователей, которых кошелек находится в карманах их друзей. Бомбакк тотчас же растаял от смазливой дамочки, что ею принято было весьма благосклонно, и через четверть часа пригласил их на завтра к обеду, также как и меня с Заирой.

Когда я к нему приехал, Кревкер и мамзель Ларивьер были уже за столом с двумя русскими офицерами, братьями Лунными (ныне генерал-майорами, а тогда еще в самых первоначальных чинах)². Младший из них,

¹ Выражая благоразумное удивление безденежной отваге путешественников, Казанова забывает, что сам приехал в Россию с тремя монетами в кармане!

² Не из этих-ли двух братьев был Петр Михайлович Лунин, о котором рассказывает П. Ф. Карабаев («Р. С.», т. V, 133), что он из капитанов гвардии получил, в 1774 г., чин полковника за ловко-перехваченную у князя Лобанова весть о взятии Пугачева?

белокурый, нежный и хорошенький, как барышня, слыл любимцем кабинет-секретаря г. Теплова... Вечер закончился оргией.

...По возвращении моем из Москвы в Петербург, первую для меня новостью была весть о побеге Бомбакка и арестовании его в Москве. Бедняка засадили в тюрьму; дело его было важно, как усложнившееся бегством. Однако-ж, его не осудили на смерть и даже не лишили прежнего звания, но назначили на постоянную службу в камчатском гарнизоне. Что касается Кревкеры и его подруги Ларнвьер, то они скрылись с кошельками друзей в своих карманах.

Пора мне приступить к рассказу о моем свидании с императрицей.

Граф Панин, воспитатель наследного принца Павла, спросил меня раз: неужели я намерен уехать из Петербурга, не увидав императрицу? Я отвечал изъяснением крайнего сожаления о том, что лишен этого счастья, не имея в виду, кому бы угодно было представить меня государыне. Тогда граф указал мне на Летний сад, как на место обычной утренней прогулки ее величества.

— Но с какого повода и по какому праву могу я предстать перед нею?

— «В этих основаниях вы не имеете надобности».

— Но я вовсе неизвестен императрице...

— «Ошибаетесь; она вас видела и даже заметила».

— Во всяком случае, я не осмелюсь приблизиться к ее величеству без чьего-либо посредства.

— «Я там буду».

Граф условился со мной о дне и часе. В назначенное время я пошел на прогулку один, рассматривая обстановку сада. По обеим сторонам аллеи были разставлены статуи жалчайшей работы: горбатые Аполлоны, шедушные Венеры, дюжие Амуры, сложенные гвардейскими солдатами, и, вдобавок, ничего не было смешнее путаницы, допущенной в именах мифологических и исторических. Помню одну маленькую и безобразную фигурку, с названием Гераклита, и уродливую же, хныкающую физиономию, под титулом Демокрита. Бородатый старик наречен был Сафо, старуха именовалась Авицениа; двое юношей, невинно-ласкающих друг друга, слыли Филемоном и Бавкидой. Но я сдержал в себе смех, приближаясь к подходящей императрице.

Впереди шел Орлов, сзади следовали многия да-

мы, сбоку государыни шел граф Панин. После первых приветствий, она спросила мое мнение об обстановке сада. Ответ мой был повторением того, который я дал королю прусскому на подобный же вопрос¹.

— Что касается надписей, прибавил я, то, конечно, оне сделаны для мстифирования несведующих и для забавы тех, кто нмеет некоторыя познания в истории.

— «Надписи и персонажи — все это ничего не означает. Мою покойную тетку² обманывали. Надеюсь, вы могли бы увидеть в России многое, не столь смешное, как эти статуи».

— Государыня! Если в вашей империи что-либо и могло бы показаться подобным, то оно отстоит неизмеримо далеко от всякаго сравнения с предметами, возбуждающими восторженное изумление иностранцев.

При дальнейшем ходе разговора я имел случай произнести с похвалою имя короля прусскаго. Императрице угодно было, чтобы я сообщил ей подробности моего с ним свидания, что я и выполнил. В это время зашла речь о празднестве, предположенном императрицею, но отложенном за дурною погодою, то-есть, об упомянутом уже мною турнире или каруселе, на который должны были собраться отличнейшие воины государства. Екатерина спросила меня, в обычаи-ли подобные праздники в моем отечестве.

— Конечно, и тем более, что климат Венеции благоприятен для увеселений такого рода. Хорошие, ясные дни там столько же обыкновенны, как здесь редки, не смотря на то, что путешественники находят здешний год м о л о ж е, нежели во всех прочих местах.

— «Правда, ваш год старше одиннадцатью днями».

— Не было-ли бы, подхватил я тут, нововведением, достойном вашего величества, принятие грегорианскаго календаря в вашей обширной державе? Вам, государыня, не безызвестно, что он усвоен всеми народами. Сама Англия, четырнадцать лет тому назад, откинула 11 последних дней февраля, и этою мерой правительство ея приобрело несколько миллионов. В прочих странах Европы все с удивлением взирают на то, что старый стиль до сих пор еще употребляется в такой империи, где государь есть в доже время глава церкви и где существует академия наук. Все готовы думать, что Петр Великий, установивший начало года с 1-го января,

¹ Что сад великолепен.

² То-есть, императрицу Елисавету Петровну.

отменил бы притом и старый стиль, когда бы не сознавал для себя обязательным держаться тогдашнего примера Англии, в руках у которой была торговля России...

— «И потом», перебила меня императрица, «Петр не был ученым».

— Он был выше всякого ученого, государыня! Он был муж великого, гениального ума! Что за такт в делах! Что за искусство в их ведении! Какая решительность! Какая смелость! Он успевал во всех своих предприятиях, потому что обладал умом, который предохранял его от ошибок, и всею силой, необходимой для борьбы со злом...

Я не успел окончить панегирик, как Екатерина отвернулась от меня и пошла далее. Тут мне пришло в голову, что она не могла, без некоторого затаенного неудовольствия, выслушивать похвалы, расточаемые ей предшественнику. Встревоженный таким исходом разговора, я старался разведать что-нибудь по этому поводу от графа Панина, который, однако-ж, уверял меня, что я весьма понравился ее величеству и что государыня каждый день расспрашивала обо мне. Он мне советовал пользоваться случаями — вновь встретиться с нею.

— «При том же», прибавил граф, «так как вы произвели хорошее впечатление, то, по всей вероятности, удостоитесь приглашения бывать при дворе, — и тогда, если заявите желание вступить здесь на службу, то получите место».

Недоумевая, какое место могло бы мне быть под стать в стране, где постоянное житье не особенно улыбалось моим мечтам, я был, однако-ж, весьма польщен известием, что государыня приняла о моей особе благосклонное мнение и обрадовалась возможности иметь доступ ко двору. И так, я в полной мере воспользовался данным мне правом и каждое утро ходил гулять в царские сады, где снова встретил императрицу. Для меня было чрезвычайно лестно, что она сама заговорила опять о вопросе, которого я коснулся при первом моем представлении.

— «То, чего вы желали для чести России, уже сделано», сказала она. «Отныне впредь, на всех письмах и сообщениях, идущих от нас за границу, также как и на всех официальных документах, могущих иметь значение для истории, будутставляемы числа того и другого стиля, одно над другим».

— Я доложу вашему величеству, что старый стиль

различествует от нового на одиннадцать дней и что в конце нынешнего века разность эта еще увеличится. Что же вы сделаете с излишком, который образуется вследствие этого?

— «Я все предусмотрела. Последний год века, который, по грегорианскому счислению, не будет высокосным в Европе, придется не высокосным и у нас. При этом ошибка допускает разницу на 11 дней, совпадающих как раз с тем числом, которым ежегодно умножают э пакты. Это дает нам право сказать, что ваши эпакты те же, что и наши, с единственным различием на один год. Относительно праздника Пасхи мы предоставляем первое слово вам. Вы полагаете равноденствие 2-го марта, а мы его определяем 10-го; но, в этом случае, вы не более нас научились от астрономов... иногда вы бываете правы, а иногда нет, ибо то число, когда наступает равноденствие, есть переходящее: оно наступает одним, двумя и даже тремя днями раньше или позже... Вы можете даже убедиться, что в счислении своем вы не сходитесь неизменно с евреями, которые сохранили у себя особую вставочную прибавку дней (*l'embolisme*)».

Я был озадачен. Вот полный курс астрономии, подумал я. Затем принимая возражения, я сказал:

— Мне остается только преклониться пред доводами вашего величества; но как же быть с вопросом о праздновании Рождества?

— «Я ожидала, что вы это скажете. Рим прав в этом отношении и вы хотите заметить, что Рождество не празднуется во время солнцестояния, как следовало бы праздновать. По моему, подобное замечание не имеет особенного веса. Сверх того, справедливость и политика обязывают меня поддерживать эту маленькую неправильность. Я не могу, вычеркивая 11 дней из календаря, заставить несколько миллионов человек, — да и себя в том числе, — потерять годовщину дня их рождения и именин. Как знать? Пожалуй, сказали бы, что я отняла 11 дней у жизни человеческой; наконец, стали бы смотреть на меня, как на безбожницу и нарушительницу вселенских постановлений Никейского собора».

Аргумент не допускал возражений. Всякий поймет, что не было средств оспаривать непогрешимость Никейского собора. По мере того, как императрица говорила, мое удивление возрастало с каждым ее словом; но скоро я заметил, что она пересказывала все это, как заученный урок, и что если следовало удивляться, то

разве ее памяти. Действительно, я узнал на другой день, что великая Екатерина имела у себя в кармане небольшой трактат об астрономии, с помощью которого ей удобно было выказать знание этого предмета. Впрочем, она выражала свои мнения (внушенные ей предварительно) с примерною сдержанностью, она искала эффекта в самой себе, а не в том, что говорила. От природы своенравная и настойчивая, она поставила себе законом сохранять совершенно ровное расположение духа, — привычка, нелегко достигающаяся и стоившая ей громадных усилий. В то время, как я видел Екатерину, она была еще молода, высока (sic), белолица, полна, с предрасположением к тучности, имела открытый вид и благородное выражение лица. Люди, которые не признавали главным достоинством наружности правильные черты и гармонию всех лицевых частей, считали Екатерину красавицей. Я в особенности был тронут ее добротой, которая со всех сторон привлекала к ней сочувствие и доверие, столь необходимые монархам, тогда как, напротив, она отталкивалась строгим видом и неприветливостью ее соседа, короля прусского. При обзоре деятельности и всей жизни Фридриха II, удивляешься высокому его мужеству, которое он выказал в своих войнах; но скоро убеждаешься, что он пал бы без поддержки счастья, много послужившего его успехам. Фридрих II многое вверял случаю: это был игрок, по крайней мере, на столько же отважный, на сколько ловкий. Теперь возьмите в сравнение историю Екатерины: вы увидите, что она мало рассчитывала на такие успехи, которые ловятся на лету; что она выполнила дела, которые до того Европа признавала невозможными, и что она, казалось, полагала гордость свою лишь в том, чтобы уверить свет, как легко для нее было совершение славных деяний.

Императрица не один еще раз говорила со мной о календаре. Это ни малейше не подвигало дела вперед. Я решился ей представиться еще однажды, располагая завести речь о другом предмете. И так, я отправился в Czarnokowo (Чернышево?). Увидев, что я иду, она подозвала меня знаком.

— «Кстати», начала она, «я забыла вас спросить, осталось-ли у вас еще какое-нибудь возражение против предположенной мною меры?»

— Все по предмету календаря?

— «Да».

— Я доложу вашему величеству, что преобразова-

тель его сам признал маленькую неточность в своих вычислениях; но эта ошибка так мало заметна, что требует исправления разве через восемь или десять тысяч лет.

— «Мои вычисления согласуются с вашими; но если последние правильны, то папа Григорий VII напрасно сознал свою ошибку, потому что законодатель не должен подозревать за собой ни безсилia, ни неумения. Не смешно-ли думать, что если бы преобразователь календаря не исключил высокоса в конце столетия, то мир в течение 50-ти тысяч лет имел бы одним годом более, — тогда как в течение этого периода равноденствие прошло бы около 150 раз по всем дням года, а праздник Рождества приходился бы от 10-ти до 12-ти тысяч раз в самой средине летней поры! Преемник святого Петра, как его называют, встретил в своей пастве сговорчивость и податливость, каких он не мог бы надеяться найти здесь, где существует приверженность к старым обычаям».

— Для меня несомненио, что воля вашего величества превозмогла бы все эти препятствия.

— «Желаю этому верить. Но какое огорчение было бы нанесено членам нашего духовенства, если бы я приудила исключить из календаря около сотни имен святых, памяти коих посвящены 11 последних дней! У вас, католиков римской церкви, полагается один святой на каждый день года, а у нас бывает по десяти или двенадцати в день. Кроме того, вы возьмите во внимание, что старейшие из государств крепко держатся за свои первобытные учреждения. И народ имеет основание чтить эти учреждения, как благия и священные, потому что оне были всегда неизменны. На этот счет я далека от того, чтобы порицать, например, обычай вашего отечества — начинать год с 1-го марта; для вашей страны в этом обычае является почетное доказательство его древности. Только не происходит-ли из того какой-нибудь запутанности в счислении времени?»

— Никакой; посредством двух букв, которые мы прилагаем к числам месяца в январе и феврале, всякое недоразумение устраняется.

— «Говорят также, что вы не разделяете 24 часа суток на две равныя половины?»

— Действительно, мы ведем счет суткам с начала ночи.

— «Страшно! И если вы находите этот способ счисления удобным, то, по моему, он очень затруднителен».

— Ваше величество, дозволите мне считать наш обычай предпочтительным вашему: с ним мы не имеем надобности возвещать всякий раз о заходе солнца пушечным выстрелом.

— «В добрый час. За то для нас это неудобство возмещается выгодой знать наверно о наступлении полудня или полуночи, когда стрелка на наших часах указывает цифру 12».

После этой научной беседы, императрица разговаривала со мной о других обычаях Венеции и, между прочим, об азартных играх и лотерее.

— «Меня хотели склонить», сказала она, «к учреждению лотереи в моем государстве; я на это согласилась, но под условием, чтобы ставка была не ниже рубля. Моя цель была — поберечь деньги человека бедного, который, не зная всех тонкостей игры и соблазняясь ее заманчивостью, постоянно мечтал бы, что терно выиграть очень легко».

Таков был последний мой разговор с великой Екатериной, несравненною государыней, которую никогда я не забуду.

...Однажды был я в петербургском французском театре. Сидя один в ложе, я порядочно скучал, как вдруг увидел в соседней ложе хорошенькую даму, также сидящую одиноко. Мы тут же познакомились. Дама говорила по-французски безукоризненно чисто и правильно (вещь, весьма редкая между русскими дамами), и когда я сказал ей об этом, то она объявила себя парижской артисткой, по имени Вальвилль.

— Я не имел еще удовольствия апплодировать вашей игре.

— «Неудивительно: я здесь уже с месяц, а играла всего один раз в «Folies amoureuses».

— Один только раз? Почему же?

— «Потому, что я не имела счастья понравиться императрице».

— Императрица весьма разборчива, при чем не всегда бывает справедлива. Вы, конечно, намерены ходатайствовать по поводу преждевременного суждения о вашей игре.

— «Низачто. Однако-ж, я аганжирована на год и потому мне будут платить по сту рублей в месяц; а по прошествии года, выдадут паспорт и деньги на обратный путь».

— Вот это обстоятельство значительно оправдывает

императрицу. Я полагаю, что, поступая с вами таким образом, она думает, что оказывает вам милость...

— «А между тем, выходит совсем иное. Невольное бездействие для меня более убыточно, чем выгодно: я отстаю от своего дела, не успев еще изучить его».

— Если ваша скромность не обманывает вас в этом случае, так необходимо обратиться с просьбой к государыне.

— «Но каким же образом я добьюсь аудиенции?»

— Способом исходайствования.

— «Мне откажут».

— А нет-ли у вас кого из знакомых, кто мог бы подействовать вам в этом?

— «Никого».

(Казанова предложил актрисе ехать вместе с ним в Варшаву).

— «Как же вы», сказала Вальвиль, «выхлопочете мне дозволение выехать из Петербурга?»

— Я не предвижу в этом затруднений, и вот чем можно устранить их отвечал я, принимаясь за письмо.

— «К кому оно будет?» спросила артистка.

— К императрице.

И я написал следующее:

«Умоляю ваше величество соизволить принять на вид, что, пребывая здесь в бездействии, я могу забыть мое ремесло актрисы и тем легче, что я не закончила еще изучения его. Великодушные, коим я ныне пользуюсь от вашего величества, может, следовательно, сопровождаются для меня более вредом, нежели пользой. Посему я была бы пренсполнена глубочайшею признательностью за милостивое разрешение на скорейший выезд мой отсюда».

— «И вы хотите, чтоб я подписала это?»

— Почему же бы вам не подписать?

— «Но, ведь, могут подумать, что я отказываюсь от путевых денег, да притом здесь нет ни полслова о паспорте».

— Пусть я прослышу за глупейшего из смертных, если вы не получите, сверх суммы на дорожные расходы, ваше годовое жалованье не в зачет выданных вам денег.

— «Я не столь требовательна; это значило бы домогаться слишком многого».

— Нет; сама императрица все поймет и сделает. О, я знаю ее!

— «Вы человек тонкий и в этом мне с вами не тягаться. Пусть будет по вашему: перепишу письмо».

...Прежде, чем Вальвилья рассказала мне историю своего прибытия сюда, я угадал, в чем дело. В Россию посоветовал ей ехать Клерваль (известный парижский артист). Имея поручение набрать комическую труппу для петербургского театра, он уверил молодую особу, что она рождена быть комическою актрисой и успеть непременно составить себе блестящую карьеру на берегах Невы. Приятным предсказаниям всегда верится легко, и вот она принимает вызов и вступает в ангажемент: решение, слишком смелое для молодой особы, которая от-роду не появлялась на сцене. Падение было более чем вероятно, и оно осуществилось на деле.

...Вальвилья выждала императрицу, когда она шла в часовню, и подала ей свою просьбу. Императрица прочитала бумагу на ходу, не останавливаясь, а потом сделала просительнице знак, чтобы она погодила. Через несколько минут просительнице возвратили бумагу с надписью на имя статс-секретаря Елагина. В этой надписи содержалось повеление — выдать актрисе годовое ее жалование, сто червонцев на проезд и паспорт. Все это она могла получить через две недели, потому что русская полиция выправляет иностранцам паспорта не прежде, как спустя пятнадцать дней после подачи о том просьбы.

...На другой день, по приезде в Варшаву, я отправился развозить рекомендательные письма, которыми запасся в Петербурге, и начал с князя Адама Чарторижского. Я застал его в кабинете, в обществе человек сорока. Прочитав поданное мною письмо, он отозвался с похвалою о том лице, от кого я имел эту рекомендацию, и пригласил меня на ужин. Приняв приглашение, я покамест поехал к польскому посланнику при французском дворе, графу Сулковскому (Sulkowski), человеку обширных познаний, дипломату-этузиасту, голова которого была набита прозками в роде аббата де-Сен-Пьера. Он показал, что очень рад меня видеть и, имея, по его словам, многое мне сообщить, оставил меня обедать с ним вдвоем. Я провел четыре убийственных часа за его столом, где я играл роль не столько собеседника, сколько ученика, выдерживающего экзамен. Граф Сулковский говорил со мною обо всем, исключая того, о чем я мог с ним говорить. Его сильная или, лучше скажу, слабая сторона была поли-

тика; он решительно подавил меня своим неоспоримым превосходством в этом предмете.

Потом я поспешил к князю Адаму, чтобы скорее забыть диковинные порождения дипломатической премудрости. Там я нашел многочисленное общество: генералов, епископов, министров, вилленского воеводу и, наконец, короля (Станислава Понятовского), которому князь меня представил. Его величество много разспрашивал меня об императрице Екатерине и знатнейших особах ее двора. Я был столько счастлив, что имел возможность сообщить ему подробности, которые, казалось, представляли для него живой интерес. За ужином я сидел по правую руку монарха и он не переставал обращаться ко мне. Из собеседников мы только двое ничего не ели.

Король польский был росту небольшого, но хорошо сложен; его лицо было исполнено выразительности; он изъяснялся очень свободно и легко, речь его сверкала остроумием и любезностью... В обществе он всегда был в хорошем расположении духа... Он выказывал себя большим знатоком классической литературы и действительно имел в ней сведения, более обширные, чем кто-либо другой в его положении. Однажды, когда он заговорил о многих римских поэтах и прозаиках, я вытаращил глаза от удивления, слыша, как он сыплет цитатами из многих рукописных схоластических сочинений, манускриптов, неизвестных публике, а если и существовавших, то лишь по соизволению его величества (*qui peut être n'existaient que par le plaisir de Sa Majesté*)... Когда речь коснулась произведений Горация, я сказал, что, льстя Августу, он заставил этого государя обезсмертить себя покровительством писателям, почему и самое имя Августа так популярно между венценосцами, что они присваивают его себе, отказываясь от собственного.

Король польский (принявший имя Августа при своем восшествии на престол) сделался весьма серьезен при высказанном мною замечании и потом спросил меня: кто же были эти венценосцы, пожертвовавшие собственным именем имени Августу?

— Первый из них, отвечал я, был король шведский, называвшийся Густавом.

— «Какое же соотношение видно между Густавом и Августом?»

— Одно из этих имен есть анаграмма другого.

— «А где нашли вы такое указание?»

— В одном манускрипте, в Вольфенбюттеле.

Тут король расхохотался, вспомнив, что он сам делал ссылки на рукописные источники. Он спросил меня, не знаю-ли я какого-нибудь изречения из Горация, в котором сатира была бы прикрыта тонкой и деликатной оболочкой, и я отвечал: «*Coram rege sua de paupertate tacentes plus quam poscentes ferent*».

— «Правда», молвил король с улыбкой, и m-me Шмидт (хозяйка дома) просила епископа Красинского объяснить ей это место. Тот перевел так: «Умалчивающий о своей бедности перед царем получает более, нежели просящий».

Добрая женщина заметила, что тут она не видит ничего сатирического. Я же не проронил ни слова, боясь, что сказал слишком много. Король переменял предмет беседы и заговорил об Апиосте...

Спустя несколько дней, я встретился с его величеством, и он, подавая целовать свою руку, вложил неприметно в мою — маленький сверток, пособивший мне расплатиться с моими долгами: в свертке было двести червонцев.

С того времени я не пропускал ни разу бывать при утреннем приеме короля (*au lever du roi*), когда ему убирали волосы, при чем мы разговаривали о всевозможных, кажется, предметах... По-итальянски он понимал хорошо, но говорить не мог.

Всякий раз, когда я вспоминаю этого прекрасного государя и его качества, столь достойные уважения, не могу постигнуть, как мог он впасть в такие важные ошибки, из которых наименьшая заключается не в том, что он пережил свое отечество...

1 руб.



Популярная библиотечка «Коробейник»

